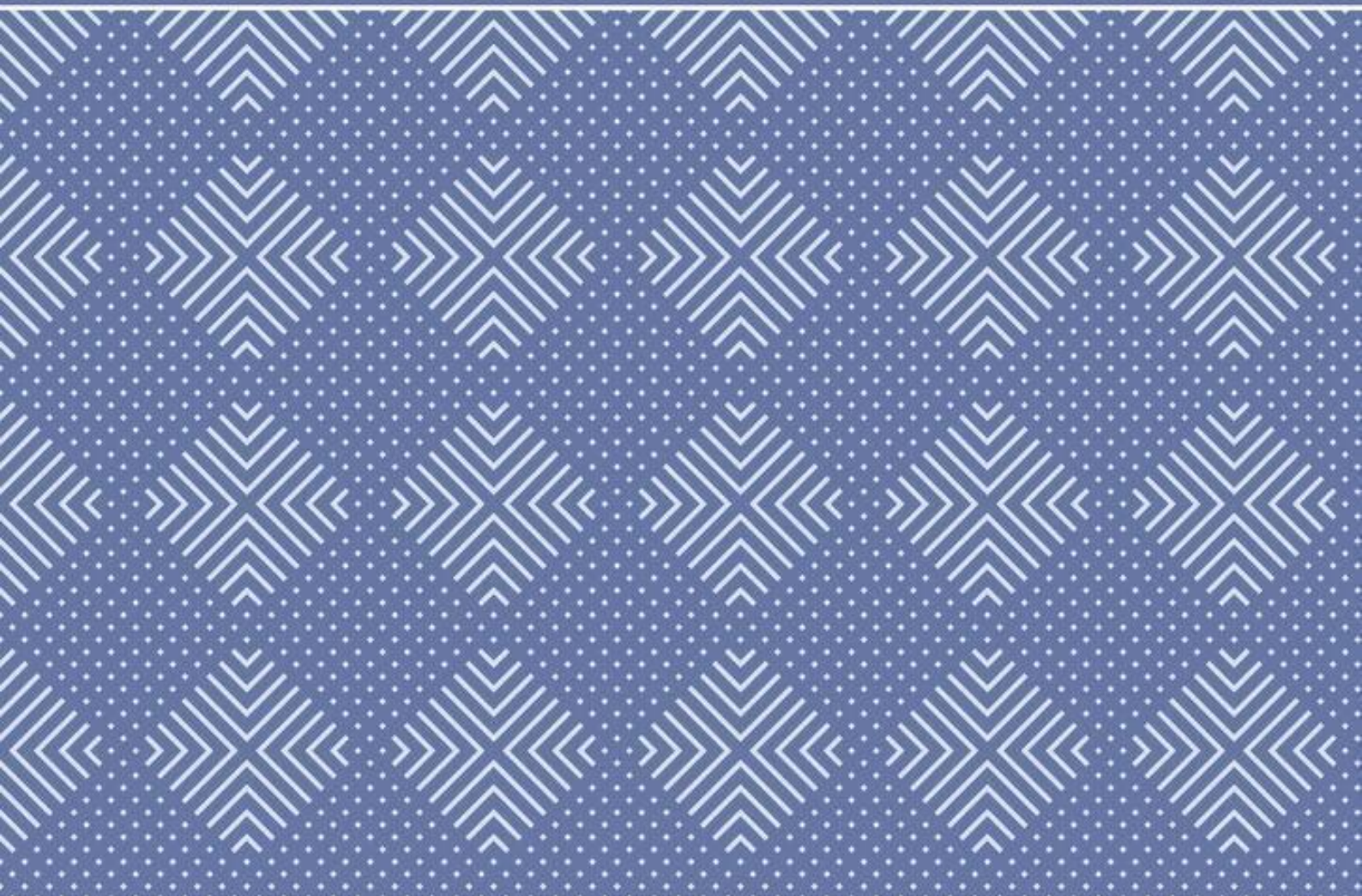


18+

Сергей Маузер

*Зажги сам. Роман,
основанный
на реальных
событиях*



Сергей Маузер

**Зажги сам. Роман, основанный
на реальных событиях**

«Издательские решения»

Маузер С.

Зажги сам. Роман, основанный на реальных событиях /
С. Маузер — «Издательские решения»,

Осень 2026-го. Сергею 54, работы нет. На кухне в Сергиевом Посаде он зажигает свечу, и пламя возвращает его в прошлое. От детдома и уфимского ПТУ до лихих девяностых с «Роялем» и чёрными риэлторами. Монастырь, первые свечи, экспедиции с иконами, создание собственного дела с нуля. История честного труда, ошибок и обретения себя. Роман, основанный на реальных событиях: путь от токаря до мастера, который научился не просто делать свечи, а зажигать смыслы.

© Маузер С.

© Издательские решения

Содержание

ЗАЖГИ САМ	6
Сergeй Маузер	7
Содержание	7
От автора	8
Пролог	9
Глава 1. Горбушка по пятницам	11
Глава 2. Характер	16
Глава 3. Спирт в снегу	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Зажги сам. Роман, основанный на реальных событиях

Сергей Маузер

© Сергей Маузер, 2026

ISBN 978-5-0071-4071-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЗАЖГИ САМ

Роман, основанный на реальных событиях

Сергей Маузер

Сергиев Посад · 2026

Содержание

От автора

Пролог

Глава 1. Горбушка по пятницам
Глава 2. Характер
Глава 3. Спирт в снегу
Глава 4. Чёрные риэлторы
Глава 5. Послушание
Глава 6. Анкета
Глава 7. Экспедитор
Глава 8. Надя
Глава 9. Номер один или пропаду
Глава 10. Пятьдесят сайтов
Глава 11. Комната в Уфе
Глава 12. Товар на двадцать лет
Глава 13. Братство
Глава 14. Троюродный внук отца Фёдора
Эпилог. Зажги сам
Об авторе

От автора

Это роман, основанный на реальных событиях моей жизни. Детский дом в Уфе, ПТУ, девяностые, потерянная квартира, почти десять лет в монастыре, сарай у тёщи, пятьдесят сайтов, формы для свечей, «Преображенское свечное братство» и 13 миллионов выручки — всё это было.

Но это не документальная хроника. Некоторые сцены, диалоги и подробности дописаны, а имена многих людей изменены — чтобы защитить их частную жизнь. Если кто-то узнает себя, знайте: я писал с благодарностью, даже о тех, кто сделал мне больно.

Сергей Маузер, Сергиев Посад, 2026

Пролог

Ночью на кухне слышно всё. Холодильник гудит так, будто о чём-то думает и никак не решится сказать. Из крана капает — раз в одиннадцать секунд, я засекал. Внизу по проспекту Красной Армии проедет машина, шикнет по луже и уйдёт в сторону вокзала. Потом опять холодильник.

Три часа ночи. Октябрь. На подоконнике — жёлтый лист, прилип снаружи к стеклу ещё днём и так и остался. Держится. Молодец.

Письмо пришло во вторник, в шестнадцать сорок. Я запомнил время, потому что как раз налил чай и подумал, что до конца дня осталось немного. Так и вышло. Письмо было вежливое, в три абзаца. «Сергей, добрый день». «В связи с оптимизацией структуры». «Благодарим за вклад». Я прочитал его два раза. Второй раз — чтобы убедиться, что не пропустил слово «однако» или «тем не менее». Не пропустил. Там его не было.

Мне пятьдесят четыре года. В этом возрасте резюме читают примерно так же, как объявления о продаже «шестёрки» восьмьдесят девятого года выпуска. С интересом. С уважением. И с мыслью: «Ну нет».

Денег на карте столько, что вслух их лучше не называть. Не потому что стыдно. Потому что цифра маленькая и от произнесения меньше не станет, а настроение испортит.

Вечером я ходил к Лавре. Просто так, пройтись. Там звонили ко всеобщей. Колокола в Сергиевом Посаде звонят не сверху, а как будто изнутри, из-под асфальта. Сначала один большой удар — долгий, тяжёлый, у меня от него всегда что-то отзывается в грудной клетке, как у старого приёмника. Потом ещё. Потом мелкие, быстрые, будто кто-то сыплет мелочь на железный поднос. Туристы снимали на телефоны. Бабушка у ворот продавала вязанные носки и смотрела на туристов с таким выражением, с каким я, наверное, смотрел на то письмо.

Я постоял у стены, послушал и пошёл домой. Дома тихо.

Теперь сижу. Чайник вскипел уже второй раз, а я так и не налил. Кружка у меня обычная, белая, из «Ашана». Без каёмки. Белую кружку с синей каёмкой я ишу лет сорок. Похожие попадают. Не те.

Спать не хочется. Хочется что-нибудь сделать руками. Руки у меня так устроены: когда в голове каша, им нужна работа, иначе они начинают барабанить по столу, и это раздражает даже меня самого.

Я открыл нижний ящик. Тот, где всё: батарейки, которые непонятно, сели или нет, зарядки от телефонов, которых давно нет, изолянта, отвёртка с треснувшей ручкой, гарантийный талон на чайник, который выбросили в прошлом году. Под всем этим лежала пачка свечей. Жёлтых, восковых, тонких. Завёрнутых в серую бумагу, как в старые времена.

Одни из последних, которые отливали на наших формах. Я их не продал и не раздал. Не знаю почему. Наверное, из той же породы, что и батарейки: выбросить жалко, а зачем хранить — не объяснишь.

Когда-то я про себя шутил, что я троюродный внук отца Фёдора из «Двенадцати стульев». Того самого, который мечтал о свечном заводике в Самаре и гонялся за гарнитуром по всей стране. Отец Фёдор до заводика не доехал. Я доехал. Постоял там, поработал, посчитал выручку, а потом написал в интернете: «Свечи — в прошлом. Теперь я зажигаю цифровые огни». Красиво написал. Во вторник, в шестнадцать сорок, цифровые огни мне вежливо погасили.

Я взял одну свечу. Она была лёгкая и чуть липкая, как все хорошие восковые свечи. Парафиновая так не липнет, она гладкая и скучная. Я поднёс её к носу. Воск пахнет мёдом, но не как мёд в банке. Тише. Как пустой улей в августе.

Спички нашлись в том же ящике. Коробок отсырел, первая чиркнула и сломалась. Вторая зашипела, подумала и загорелась.

Фитиль взялся не сразу. Сначала огонёк был маленький, синий у основания, и дрожал, будто прикидывал, стоит ли ему тут оставаться. Потом выровнялся, вытянулся вверх и стал обычным. Жёлтым. Тёплым. По стене поползла моя тень — большая, сутулая, с головой как у медведя.

Я выключил верхний свет.

Кухня сразу стала меньше и лучше. Не видно облупленного угла над плитой. Не видно, что линолеум у двери протёрся. Видно стол, свечу, мои руки и коробку карандашей.

Карандаши лежат на столе всегда. Двенадцать цветов, в жестяной коробке. Я купил их весной, в канцелярском у вокзала, без всякой причины. Продавщица спросила: «Внуку?» Я сказал: «Себе». Она посмотрела на меня внимательно, как на человека, который, возможно, опасен, но вряд ли.

Я до сих пор покупаю цветные карандаши. И иногда рисую самолёты.

Я взял синий. Потом подумал и взял серый — для фюзеляжа. Нарисовал крыло. Крыло вышло кривое, как всегда. Сорок с лишним лет рисую самолёты, а крыло всё так же уходит вниз, будто самолёт устал и хочет присесть. Может, так и задумано.

Свеча горела ровно. Воск по краю начал плавиться и собираться в маленькую прозрачную лужицу. На ней отражался огонёк, и выходило, что огонёк два: один наверху, настоящий, и один внизу, отражённый. Я долго на это смотрел.

Свеча — это маленькая вещь, которую отдают другому. Я когда-то так объяснял журналисту, и он кивал, но, кажется, не понял. Я сам тогда не очень понимал. Просто чувствовал, что это правда, а откуда она взялась — не знал.

А сейчас сидел на кухне с этой свечой и понял, что знаю. Надо только отмотать назад. Далеко. Дальше белгородского сарая, дальше монастыря, дальше девяностых, спирта, снега и куртки, которой у меня не было.

Туда, где пахнет мокрой тряпкой и подгоревшей кашей. И где по пятницам привозят хлеб.

— Ладно, — сказал я вслух. Голос в тишине прозвучал хрипло и немного глупо. — Давай с начала.

Свеча не ответила. Свечи вообще неразговорчивые. За это их, наверное, и любят.

Я положил рядом лист бумаги, подвинул карандаши и стал вспоминать. По порядку. С самого начала. Так, как будто рассказываю кому-то, кто ничего обо мне не знает и никуда не торопится.

Где-то в пятом часу, когда за окном ещё было черно, со стороны Лавры ударил первый колокол. К ранней. Один раз, долго. Потом второй.

Я не пошёл. Я уже был в Уфе.

Глава 1. Горбушка по пятницам

Столовая пахла не едой, а чем-то средним между мокрой тряпкой и подгоревшей кашей. Этот запах впитывался в одежду, в волосы, в подушку. Я до сих пор узнаю его в чужих подъездах и вздрагиваю.

Детский дом стоял в Уфе, на тихой улице, за зелёным забором из штакетника, который красили каждую весну одной и той же краской. Краска ложилась на старую, и к восьмидесятым штакетины стали толстые, как палыцы у грузчика. Здание было кирпичное, в три этажа. На первом — столовая, кухня, кабинет директора и красный уголок с бюстом Ленина, у которого кто-то давно отбил кончик носа. Бюст так и стоял, с отбитым носом, и никто этого не замечал. Или делали вид.

Мы жили на втором. Спальня на двенадцать коек, у каждой тумбочка. Тумбочка считалась твоей, но это было такое же «твое», как «твоя» очередь в поликлинике. Её могли открыть, проверить, переставить. Одежда была общая. На внутренней стороне трусов и маек хлоркой писали номер, чтобы после прачечной разобрать. Мой номер был семнадцать. Я его помню лучше, чем некоторые телефоны.

Утром — подъём, зарядка в коридоре, умывание холодной водой, потом столовая. Каша. Манная, пшённая, «дружба» — это когда пшено с рисом. Масло кубиком, чай в гранёном стакане, сладкий до липкости. Хлеб — два куска, серый, вчерашний, а то и позавчерашний. Хлеб резала повариха тётя Валя, огромным ножом, на доске, которая от старости стала вогнутой, как лодка. Из одной буханки выходило двенадцать ломтей. Не одиннадцать и не тринадцать. Двенадцать. Я это знал, потому что считал.

Но был день, когда запах столовой перебивало что-то другое — запах свежего хлеба, который привозили по пятницам.

Хлебовозка приезжала часов в одиннадцать. Серый фургон, на боку белыми буквами — «ХЛЕБ». Шофёр, дядя Миша, в кепке и в халате поверх пиджака, открывал задние двери, и оттуда выдвигались деревянные лотки. Буханки лежали в них тесно, плечом к плечу, как солдаты. Ещё тёплые. От них шёл пар, если на улице было холодно.

Запах шёл по всему первому этажу. Поднимался по лестнице. Пролезал под дверь класса, где у нас была самоподготовка, и мы переставали решать примеры. Даже воспитатели начинали чаще смотреть в окно.

Тогда казалось, что счастье — это просто горбушка, которую можно съесть, пока никто не видит.

Горбушки доставались не всем. Их было две на буханку, а нас — много. Тётя Валя горбушки не резала на ломти, откладывала отдельно, на свои соображения. Кому-то из дежурных. Кому-то из маленьких, кто плакал. Кому-то просто так. Систему я так и не понял, хотя изучал её несколько лет с упорством учёного.

Первую свою горбушку я получил лет в семь. Дежурил по кухне — таскал лотки, хотя меня самого можно было положить в лоток. Тётя Валя посмотрела, как я пыхчу, отломила горбушку от крайней буханки и сунула мне в руку.

— Иди за бак, — сказала она. — Чтоб не видели.

Я встал за бак с помоями. Там пахло соответственно. Но я этого не замечал. Горбушка была горячая, корка хрустела, а внутри был мякиш — белый, мягкий, живой. Я ел медленно. Отщипывал по кусочку. Мне казалось, если съесть быстро, то как будто ничего и не было.

Потом, много лет спустя, в дорогих ресторанах, куда меня пару раз приглашали партнёры, мне приносили хлеб в плетёной корзинке, с оливковым маслом и какой-то солью с Гималаев. Я ел и вежливо кивал. Но это было не то. За баком с помоями было лучше.

Воспитательницу звали Анна Петровна. Она не говорила громко и не ругала за разбитую чашку.

Это важно. Остальные ругали. Не со зла — у них была работа такая, и на каждую разбитую чашку потом писали объяснительную. Одна воспитательница, Зинаида Фёдоровна, умела так сказать «Ну и что мы наделали?», что хотелось самому сдать себя в милицию. А Анна Петровна брала веник, заметала осколки и говорила:

— Бывает. Руки целы?

Она была невысокая, в сером костюме, с волосами, собранными сзади в узел. Очки носила на цепочке. Больше про её внешность я, честно говоря, ничего сказать не могу. Лицо стёрлось. Как монета, которую долго носили в кармане.

Однажды зимой я заболел. Ангина, температура под сорок, горло такое, будто проглотил ёжика. Меня положили в изолятор — маленькую комнату на две кровати, с белыми стенами и окном во двор. Там пахло хлоркой и почему-то яблоками. Я лежал один, смотрел в потолок и считал трещины. Трещин было девять.

Вечером пришла Анна Петровна. Принесла мне чай с малиновым вареньем. В своей собственной кружке — белой, с синей каёмкой.

— Пей, пока горячий, — сказала она. — Маленькими глотками.

Я пил маленькими глотками. Горло горело, варенье было сладкое, в нём попадались косточки, и они застревали в зубах. Анна Петровна сидела на соседней кровати и молчала. Не читала нотаций, не спрашивала, как я себя чувствую. Просто сидела. Потом забрала кружку и ушла.

Я запомнил эту кружку лучше, чем её лицо. Потому что это была первая вещь, которая принадлежала кому-то, а не «всем». И она дала её мне.

В детдоме всё было «всех». Стаканы, ложки, полотенца, книжки в библиотеке, мяч во дворе. Даже воспитатели были «всех» — они приходили на смену и уходили со смены. А у Анны Петровны была своя кружка. Она пила из неё в воспитательской. И вот эту свою кружку она принесла мне. Мне, номеру семнадцать.

Я потом несколько дней ходил и думал про эту кружку. Никому не рассказывал. Боялся, что если расскажу, это станет «всех».

У меня был друг — Колька.

Колька был на год младше, но выглядел старше — широкий, лобастый, с белёсыми бровями. Спереди у него не хватало куска зуба. Он утверждал, что это его ударил лошадьё цыган, когда он был маленький. Потом утверждал, что упал с турника. Потом — что зуб ему выбили на войне. Какая война в шесть лет, он не уточнял.

Зато через эту дырку он умел свистеть. Громко, пронзительно, так, что с тополя во дворе срывались вороны. Воспитатели за этот свист его гоняли, а мы уважали. Я сам пробовал свистеть — без дырки не получалось. Одно время всерьёз думал, не выбить ли себе зуб. Колька отговорил.

— Двоих свистунов тут не надо, — сказал он. — Конкуренция.

Слово «конкуренция» он где-то услышал и очень его полюбил. Употреблял к месту и не к месту.

Колька говорил, что, когда вырастет, станет лётчиком. Он знал все самолёты. Ну, так он говорил. Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ан-2 — «кукурузник». Когда над Уфой пролетал самолёт, Колька задирает голову и говорил, какой это. Проверить было нельзя, самолёт был высоко, маленький, серебристый, с белым хвостом из пара. Но Колька говорил уверенно, и мы верили.

— Сто пятьдесят четвёртый, — говорил он. — В Москву пошёл. Там сейчас курицу дают.

— Какую курицу?

— В самолёте. В фольге. Горячую. И лимонад.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

Откуда Колька мог знать про курицу в фольге, я не понимаю до сих пор. Никто из нас в самолёте не летал. Но я представлял эту курицу — горячую, в фольге, на высоте десять тысяч метров, — и мне становилось хорошо.

А я хотел стать поваром. Не потому что любил готовить, а потому что хотел, чтобы у всех всегда была еда.

Я Кольке так и сказал однажды. Мы лежали за сараем, где хранился садовый инвентарь, на траве. Был июнь, пахло тополиным пухом и нагретым рубероидом.

— Повар — это для девчонок, — сказал Колька.

— Тётя Валя не девчонка.

Колька подумал.

— Тётя Валя — это исключение.

— Я буду главный повар. Чтобы хлеба было сколько хочешь. И горбушки всем.

— Всем горбушек не хватит. У буханки две горбушки.

— Значит, буханок будет больше.

Колька посмотрел на меня с уважением. Мысль про буханки ему в голову не приходила.

— Ладно, — сказал он. — Тогда я буду прилетать к тебе обедать.

— На самолёте?

— На Ту-154. Прямо во двор.

— Он во двор не влезет.

— Влезет. Я его боком посажу.

И засвистел через свою дырку, так что с сарая слетела кошка.

Под Новый год к нам приходили шефы. Шефами у нас был моторостроительный завод — тот самый, что делал двигатели для самолётов. Колька, когда это узнал, неделю ходил гордый, как будто лично собирал каждый двигатель.

Шефы приходили в пальто, пахнувших морозом и одеколоном «Шипр». Приносили подарки в бумажных кулках: мандарины, конфеты «Мишка косолапый» и «Белочка», карамель, которая липла к фантику, грецкие орехи. Орехи мы кололи дверью. Дверь потом пришлось перевешивать, но это было уже после праздника.

В тот год, когда мне было девять, один из шефов — дядька с усами, в очках с толстыми стёклами — раздавал ещё и канцелярию. Кому пенал, кому альбом, кому ластик в виде машинки. Мне достался набор цветных карандашей. Шесть штук, в картонной коробке. На крышке был нарисован мальчик с собакой, собака почему-то была зелёная.

— Рисуешь? — спросил дядька.

— Не знаю, — честно сказал я.

— Вот и узнаешь, — сказал он и пошёл дальше.

Шесть карандашей: красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный. Я пересчитал их раз пять. Потом понюхал. Карандаши пахли деревом и чем-то сладковатым, клеем, наверное.

Я спрятал их под матрас и доставал только ночью, чтобы никто не увидел. Это была первая вещь, которая была только моей.

Кружка Анны Петровны была её — она мне её дала, а потом забрала. А карандаши были мои. Насовсем. Это было странное чувство. Немного тревожное. Я не знал, что делать с вещью, которая только моя. Боялся, что отберут, сломают, растащат. Поэтому матрас.

Ночью в спальне было темно, но из коридора сквозь стекло над дверью падал жёлтый свет от лампочки. Полоска света ложилась как раз на мою подушку. Я садился, подкладывал под листок учебник по природоведению и рисовал.

Я рисовал самолёты. И суп. И белую кружку с синей каёмкой.

Самолёты у меня получались кривые. Крыло всегда уходило вниз, как у подбитого. Суп был проще — тарелка, пар, ложка. Пар я рисовал коричневым, потому что белого не было. Кружку рисовал синим и чёрным — синюю каёмку и чёрный контур. Белое оставлял бумагой.

Колька спал на соседней кровати. Однажды он проснулся, увидел, что я рисую, и шёпотом спросил:

— Это что у тебя?

— Ничего.

— Карандаши?

Я молчал. Колька подумал и сказал:

— Я никому.

И правда никому не сказал. Только иногда ночью протягивал руку через проход и просил синий. Для неба. Небо у Кольки выходило лучше, чем у меня, — ровное, без просветов. А самолёты у него получались точно такие же кривые. Это меня утешало.

Синий карандаш закончился первым. Мы его исписали до огрызка, до того, что держать было нельзя. Коричневый — последним: пар над супом рисовать надо было нечасто.

Сейчас, на кухне, передо мной лежит жестяная коробка на двенадцать цветов. Синий в ней самый короткий. Я как-то не задумывался об этом. А теперь посмотрел — и правда.

Когда я вырос, я не стал ни поваром, ни лётчиком. Но я до сих пор покупаю цветные карандаши. И иногда рисую самолёты.

Может быть, поэтому я потом так долго делал свечи. Свеча — это тоже маленькая вещь, которую отдают другому. Как чай в чужой кружке, когда тебе плохо.

Свеча на столе горит ровно. Воск у фитиля уже собрался в прозрачное озерцо. Я подвинул её чуть ближе к листу, чтобы было светлее. Как тогда — полоска света из коридора.

Была ещё одна история, про которую я вспоминаю, когда режу хлеб.

Летом, лет в одиннадцать, я напросился на кухню помогать тёте Вале. Не на дежурство, а так, добровольно. Мне хотелось посмотреть, как делается еда. Изнутри.

Изнутри еда делалась так. Огромные алюминиевые кастрюли, в которые можно было посадить двоих Колек. Картошка в мешках, которую надо чистить. Чистили её ножами, у которых лезвие было сточено до тонкого полумесяца. Очистки падали в ведро длинными спиралями. Тётя Валя чистила так, что спираль выходила целая, от начала до конца, без единого разрыва. У меня выходили кусочки, лохмотья и большие куски картошки вместе с кожурой.

— Ты не картошку чистишь, — сказала тётя Валя, — ты её раздеваешь вместе с мясом. Тоньше бери.

Я брал тоньше. Выходило медленнее. Тётя Валя вздыхала, но не отбирала нож.

Потом она учила меня резать хлеб. На той самой вогнутой доске.

— Двенадцать кусков, — сказала она. — Смотри. Сначала пополам. Потом каждую половину пополам. Потом каждую четвертушку на три. Чтобы ровно было. Чтобы никто не сказал, что ему меньше.

— А если скажут?

— Скажут всё равно. Но чтоб неправда была.

Я резал. Куски получались разные: один толстый, другой как бумага. Тётя Валя смотрела, качала головой и говорила «ещё». К концу лета у меня выходило двенадцать почти одинаковых ломтей. Почти. Тётя Валя брала два крайних, прикладывала друг к другу, смотрела на просвет и говорила:

— Годится.

Это было первое «годится» в моей жизни от взрослого человека. Не «молодец», не «хорошо», а именно «годится». В нём была точность. «Молодец» говорят всем, чтобы отстали. «Годится» говорят, когда проверили.

Потом, много лет спустя, другой человек, над другим столом, приложит к свету другую вещь — железную — и скажет то же самое слово. Но это будет уже в ПТУ.

А тогда я вышел из кухни, пропахший луком, картошкой и тем самым столовским запахом, от которого вздрагиваю до сих пор. Колька ждал меня на крыльце.

— Ну что? — спросил он.

— Двенадцать кусков, — сказал я. — Ровно.

— Конкуренция, — одобрительно сказал Колька. Он опять употребил слово не к месту, но я понял, что он имел в виду.

В ту пятницу, когда приехал серый фургон с белыми буквами, тётя Валя отломила горбушку и отдала мне. Я не пошёл за бак. Я вышел во двор, за сарай, где пахло рубероидом, и разломил горбушку пополам.

Колька взял свою половину, откусил, прожевал, посмотрел в небо и сказал:

— Ил-62. На Москву.

Я посмотрел. В небе ничего не было. Только облако, похожее на кривой самолёт с крылом, уходящим вниз.

— Ага, — сказал я. — На Москву.

И мы доели.

Глава 2. Характер

Из детского дома выпускали летом. Выдавали на руки документы, пальто на вырост, ботинки, два комплекта белья — уже без номеров — и немного денег. Ещё выдавали напутствие. Директор говорил его всем одинаково, стоя у окна в своём кабинете и глядя куда-то поверх наших голов, на тополь.

— Вы теперь самостоятельные люди. Государство вас вырастило. Не подведите.

Кого именно не подвести, он не уточнял. Государство, наверное. Государство к тому времени само выглядело так, будто его вот-вот кто-нибудь подведёт.

Мне было семнадцать. Шёл восемьдесят девятый год.

Анна Петровна вышла меня проводить на крыльцо. Она поправила мне воротник пальто, хотя он был в порядке, и сказала:

— Ешь нормально, Серёжа. Не всухомятку.

Я сказал, что буду. Мы оба знали, что не буду. Кружку она мне не подарила, и я не спросил. Я тогда был уже большой и понимал, что свою кружку человек не отдаёт. Даёт на время, когда тебе плохо. Это другое.

Колька ещё оставался — ему был год до выпуска. Он стоял у забора, засунув руки в карманы, и свистел через свой зуб что-то бодрое. Потом перестал свистеть и сказал:

— Ты это. Пиши.

— Куда писать? Ты в соседнем районе.

— Всё равно пиши. Лётчикам письма пишут.

Я пообещал. Написал ему, кажется, два раза. Он мне — один. Мы были не писатели.

С документами и пальто я поехал на троллейбусе в ПТУ. Поваром я не стал. Поваров в том году набирали мало, и мне в комиссии сказали, что с моими оценками по математике лучше на токаря. Токарь — это ремесло, которое кормит. Работа с металлом, станок, чертёж, точность до десятых долей миллиметра. Женщина в комиссии сказала это так, будто сама двадцать лет стояла у станка. Может, и стояла. У неё были очень короткие ногти.

Я подумал: кормит — это тоже про еду. И согласился.

Общежитие было пятиэтажное, панельное, с общей кухней на этаже и душем в подвале, где горячая вода была по вторникам и субботам. В комнате нас было четверо. Ринат — из-под Бирска, длинный, спокойный, умел спать сидя на любой поверхности. Толик — из Стерлита-мака, маленький, быстрый, с чёлкой и привычкой по любому поводу говорить «спокуха». И ещё один парень, Серёга, как я, но он через полгода ушёл в армию, и я его почти не запомнил. Запомнил только, что он храпел с присвистом, и Ринат говорил, что это Колька передаёт мне привет.

Первую неделю я не мог привыкнуть к одному: в столовую никто не звал. Не было подъёма, звонка, строя. Хочешь есть — иди. Не хочешь — не ходи. Я ходил по общаге и не понимал, что делать с этой свободой. Она была как новые ботинки — вроде хорошие, а жмут.

Стипендию дали в конце сентября. Я получил её в окошке у кассирши, пересчитал два раза, сложил пополам и положил во внутренний карман. Потом переложил в другой карман. Потом обратно. Всю дорогу до булочной держал руку на кармане, как будто там была граната.

В булочной я купил буханку. Белую, «кирпичиком». Она была ещё тёплая — только привезли. Я вышел на улицу, отломил горбушку и съел её прямо там, у двери, на ветру, на виду у всех.

Никто на меня не смотрел. Люди шли мимо, с авоськами, с портфелями, с детьми. Никому не было дела, что парень в пальто на вырост ест горбушку у булочной. И это было самое странное. Можно было не прятаться. Никакого бака с помоями. Никакой тёти Вали, которая скажет «иди, чтоб не видели». Просто стой и ешь.

Я съел вторую горбушку. Потом подумал и съел середину. Буханку целиком, за один раз, у булочной. Мне потом было плохо, но это было хорошее плохо.

Тогда же я купил себе карандаши. Двенадцать цветов, в коробке с видом Кремля на крышке. На всякий случай. Рисовать мне было особенно некогда, но они лежали в тумбочке, и от этого тумбочка становилась моей.

Сейчас я смотрю на свою жестяную коробку на кухонном столе и думаю, что с того дня ни разу не жил без карандашей. Квартиры менялись, города менялись. Коробка — была. Свеча тем временем прогорела на палец. Воск стёк по одной стороне тонкой дорожкой, как будто свеча тоже куда-то торопится.

Мастером производственного обучения у нас был Рашит Галимович. Невысокий, сухой, лет пятидесяти, в синем халате, из нагрудного кармана которого всегда торчали штангенциркуль и карандаш. На левой руке у него не хватало половины мизинца.

В первый же день он поднял эту руку и показал нам.

— Это чтобы вы галстуки у станка не носили, — сказал он. — И рукава не распускали. И волосы. Станок не злой. Он просто не думает. Думать должны вы.

Толик хмыкнул. Рашит Галимович посмотрел на него без всякого выражения.

— Спокуха, — сказал он Толику. Так мы узнали, что мастер слышит всё, даже то, что говорится в общаге.

Мастерская была длинная, с высокими окнами, в которых половина стёкол была матовая от грязи, а половина — новая, прозрачная. Станки стояли в два ряда. 1К62 — старые, зелёные, крашенные столько раз, что краска лежала на них, как штукатурка. И два 16К20, посвежее, их давали только тем, кто заслужит.

Запах мастерской я запомнил сразу и навсегда. Эмульсия — белая жидкость, которой поливают деталь и резец, чтобы не перегревались. Пахла она мылом и чем-то кислым, как молоко, которое забыли в тепле. К этому примешивалось машинное масло, горячий металл и стружка. Стружка пахнет, если её только что сняли, — остро, почти как спичка. Потом, остывая, перестаёт.

Стружка была разная. Со стали шла длинная, витая, синяя от температуры — красивая, как ёлочная мишура, и острая, как бритва. Рашит Галимович запрещал трогать её руками. Только крючком. С чугуна сыпалась мелкая чёрная крошка, от неё руки становились серыми до локтя. С латуни шла жёлтая, блестящая, и её было жалко выметать.

Первые две недели мы к станкам не подходили. Изучали чертежи, допуски и посадки, учились держать штангенциркуль и микрометр. Микрометр мне понравился сразу. У него была трещотка: крутишь барабан, и когда губки касаются детали, трещотка щёлкает и не даёт перетянуть. Прибор, который сам знает, когда хватит. Я подумал, что людям бы такую трещотку.

Потом нас поставили к станкам.

Первое задание было простое — втулка. Цилиндр с отверстием, наружный диаметр тридцать, внутренний двадцать, длина сорок. Допуск — две десятых. На бумаге это выглядело так, что и ребёнок сделает.

Я запорол четыре заготовки.

Первую — потому что не так зажал в патроне, и её повело. Вторую — потому что снял лишнего с наружного диаметра, торопился. Третью — потому что сверло пошло криво, я не проверил центр. Четвёртую я не понял почему. Она просто вышла неправильная. Рашит Галимович взял её, покрутил, посмотрел на меня.

— Ты что с ней делал?

— Точил.

— Ты с ней воевал, — сказал мастер. — Металл это чувствует. Ему всё равно, но он чувствует.

Я не понял, как может быть одновременно всё равно и чувствовать. Понял потом, лет через двадцать, когда сам начал делать формы и видел, как новички воюют с заготовкой.

Пятую втулку я делал полдня. Медленно. Зажал, проверил, снял первый проход. Остановил станок, замерил. Ещё проход. Замерил. Эмульсия капала на руки, белая, тёплая. Стружка шла ровная, завитком, и падала в поддон с тихим звоном. Я слушал станок. Если он гудел ровно — всё хорошо. Если начинал подвывать — резец затупился или я слишком налегаю.

Когда я её снял, втулка была горячая. Я подождал, пока остынет, и понёс мастеру.

Рашит Галимович взял её, протёр ветошью. Замерил снаружи штангенциркулем. Внутри — нутромером. Длину. Потом поднёс к окну, посмотрел торец на просвет, провёл по нему пальцем — тем, у которого не хватало половины.

Долго молчал. Я стоял и ждал. Толик за соседним станком перестал точить и тоже ждал.
— Годится, — сказал мастер.

И положил втулку на стол. Не в ящик для зачтённых работ, а просто на стол, передо мной.
— Забирай. Первую надо хранить.

Я забрал. Втулка была тяжёлая для своего размера, гладкая, с чуть заметными кольцами от резца. Я носил её в кармане штанов года два. Она протёрла мне три кармана. Потом где-то потерялась — при переезде, наверное. Или в девяностых, когда терялось всё.

Тогда я не знал, что через много лет именно это ремесло поможет мне делать формы для свечей. Я вообще не думал ни о каких свечах. Свечи были в церкви, а в церковь я не ходил. Никто из нас не ходил. Церковь была там, где бабушки, а у нас бабушек не было.

Про Рашита Галимовича в группе говорили, что он когда-то работал на моторостроительном, на самых точных операциях, где допуск в микронах. Что ушёл оттуда после травмы — из-за пальца. Сам он об этом не рассказывал. Он вообще мало говорил. Но одну фразу повторял так часто, что мы начали её передразнивать.

— Характер, — говорил он, — это когда ты второй раз делаешь так же хорошо, как первый. А третий — лучше.

Толик в общаге изображал это с его интонацией, подняв руку с поджатым мизинцем. Ринат смеялся. Я тоже смеялся. А сам думал, что второй раз у меня пока не получается даже так же. Вторая втулка вышла хуже первой. Третья — нормальная. Четвёртая — хорошая. Характер, видимо, подтягивался медленнее, чем руки.

Тем временем вокруг начало твориться непонятное.

Сначала пропал сахар. Потом мыло. Потом ввели талоны. На сахар, на мыло, на водку, на сигареты. Талоны были бумажные, разноцветные, их выдавали в общаге под роспись. Толик тут же выменял свои водочные на сахарные у соседа с третьего этажа, потому что сахар было проще продать. Толик вообще быстро понял новое время. Раньше всех.

Очереди стали длинные и злые. В гастрономе на углу продавщица писала номер очереди шариковой ручкой на ладони. У меня на ладони однажды было «147». Я простоял три часа и купил пачку масла и кулёк карамели. Карамель была липкая, как в детдоме у шефов. Некоторые вещи в Союзе не менялись до самого конца.

По телевизору в красном уголке общаги показывали съезды. Люди в костюмах выходили на трибуну и говорили длинно. Некоторые кричали. Ринат смотрел съезды с интересом, как футбол.

— За кого ты? — спросил я.

— Ни за кого, — сказал Ринат. — Просто интересно, кто кому первый в морду даст.

Никто так никому и не дал. По крайней мере, при нас.

Практику мы проходили на заводе. Большой цех, станки до горизонта, мостовой кран под потолком, гул, от которого через час переставал слышать собственные мысли. Нас поставили к рабочим, в пару. Меня — к пожилому токарю, дяде Коле. Он точил валы, огромные, в руку толщиной, и молчал. Я подавал заготовки, подметал стружку и смотрел.

На второй неделе дядя Коля выключил станок, сел на ящик, достал из кармана бутерброд с салом и сказал:

— Заказов нет. Видишь, половина стоит?

Я посмотрел. Половина станков и правда стояла. Над ними горел свет, а людей не было.

— Раньше в три смены работали, — сказал дядя Коля. — Сейчас в одну, и то не каждый день. Ты, парень, зря в токаря пошёл.

— А куда надо было?

Дядя Коля пожевал сало.

— Не знаю, — сказал он честно. — Сейчас никто не знает.

Это «никто не знает» я потом слышал ещё много лет. От разных людей, по разным поводам. Но первый раз — от дяди Коли, на ящике, с бутербродом.

В августе девяносто первого я был в общаге. Утром включили телевизор, а там — балет. «Лебединое озеро». Весь день. Ринат сидел перед экраном и не понимал.

— Это что, праздник какой-то?

Толик уже куда-то сбегал, что-то узнал.

— Спокуха, — сказал он. — В Москве танки.

Мы подошли к окну. В Уфе танков не было. Был обычный августовский день: тополиный пух давно отлетел, на балконе соседней пятиэтажки женщина развешивала бельё. Мужик внизу чинил «Москвич», лёжа под ним на картонке. Всё было как всегда. Только по телевизору танцевали лебеди.

Через три дня лебеди закончились. Потом, к декабрю, закончился Союз. Я узнал об этом тоже по телевизору, в красном уголке, между двумя зачётами. Союза не стало, а мне надо было сдавать зачёт по допускам и посадкам. Я сдал на четыре. Рашит Галимович сказал, что за посадку с натягом надо было пять, но у меня «натяг в голове не тот».

Зимой, перед выпуском, мне дали разряд. Третий. Выдали корочку — синюю, с гербом, который уже был гербом страны, которой нет. Я держал её в руках и думал, что это, наверное, смешно. Но смешно почему-то не было.

Рашит Галимович пожал нам всем руки. Мне — последнему. Рука у него была сухая и твёрдая, как деревянная ручка напильника.

— Ты не бросай, — сказал он. — Металл тебя слушается. Это не у всех.

— А работа где будет?

Он посмотрел в окно. Окно было наполовину грязное, наполовину чистое.

— Где-нибудь будет, — сказал он. — Руки прокормят. Если голова не подведёт.

Я вышел из мастерской на мороз. Пахло снегом и выхлопом от автобуса. В кармане лежала корочка третьего разряда, а под ней, в другом кармане, — первая втулка, тёплая от ноги.

Толик ждал меня у ворот. Он курил и притопывал.

— Серый, — сказал он. — Есть тема.

Толик всегда знал, где тема. Я тогда ещё не понимал, что в новой стране это умение будет стоить больше, чем третий разряд, микрометр с трещоткой и характер, который второй раз делает так же хорошо, как первый.

— Какая тема?

— Потом расскажу. Спокуха.

И мы пошли к остановке, по снегу, в сторону той жизни, которую никто не знал.

Глава 3. Спирт в снегу

Работу по специальности я нашёл быстро и так же быстро понял, что это не работа, а место, куда надо ходить.

Меня взяли токарем в механический цех при одном заводе, названия которого я называть не буду — завода всё равно больше нет, а на его месте сейчас торговый центр с фудкортом. Там, где стоял мой 1К62, теперь, по моим расчётам, продают шаурму. Я как-то заходил. Шаурма была неплохая.

Станков в цеху было тридцать два. Работали шесть. Зарплату платили раз в два-три месяца, иногда частями, иногда продукцией. Один раз выдали кастрюлями. Нам с Ринатом досталось по две эмалированных кастрюли с цветочком на боку. Мы стояли на рынке и пытались их продать. Рядом стоял мужик с завода резиновых изделий и продавал грелки. Покупателей не было ни у него, ни у нас. К вечеру мы поменялись: я ему кастрюлю, он мне грелку. Грелка потом пригодилась. Кастрюля, надеюсь, ему тоже.

У меня была квартира. Однокомнатная, на окраине, в панельной девятиэтажке. Мне её дали как сироте, выпускнику детдома, после долгой беготни по кабинетам с папкой справок. Четвёртый этаж, окна на пустырь, за пустырьём — железная дорога. Ночью проходили товарняки, и стёкла в серванте, который достался от прежних жильцов, тихонько звенели. Сервант был пустой. Я поставил туда коробку с карандашами и втулку. Больше ставить было нечего.

Квартира была главным, что у меня было. Я это понимал примерно так же, как понимаешь, что у тебя есть почки. Есть и есть. Пока не заболят.

Подработать в те годы было почти невозможно. Всё, что можно было разгрузить, погрузить, перенести и перетащить, уже кто-то разгружал, грузил и таскал. Бригады дрались за разгрузку фур и вагонов. Буквально дрались — не в переносном смысле, а кулаками, а иногда и чем посерьёзнее.

Толик нашёл нам место на товарной станции. Там, за складами, по утрам собирались мужики. Стояли кучками, курили, поглядывали друг на друга. Каждая кучка была бригада. У каждой бригады был старший. Когда подходила фура или подавали вагон, старшие шли к экспедитору договариваться. Кто договорился — тот и разгружает. Кто не договорился — может попробовать договориться по-другому.

Нашим старшим был Толик. Больше некому было. Ринат был слишком спокойный, а я слишком честный — Толик так и сказал.

— Серый, ты с экспедитором не говори. Ты ему правду скажешь, а он тебе потом половину недодаст.

Нас было пятеро: Толик, Ринат, я и ещё двое парней из нашей группы в ПТУ, Эдик и Вова-большой. Вова-большой был действительно большой — метр девяносто, руки как лопаты. Его брали для солидности. Он редко говорил, но стоял рядом с Толиком, и экспедиторы как-то сразу становились сговорчивее.

Первая драка случилась на третий день. Подали вагон с цементом. Толик договорился. Мы уже подошли к вагону, когда из-за склада вышли пятеро других. Старший у них был в спортивном костюме «Адидас» с тремя полосками и в кепке.

— Это наш вагон, — сказал он.

— Мы договорились, — сказал Толик.

— С кем?

— С экспедитором.

— А мы с экспедитором вчера договорились.

Экспедитор в этот момент очень внимательно изучал свои накладные и смотрел в другую сторону. Это было универсальное поведение экспедиторов девяностых.

Дрались мы недолго и бестолково. Никто из нас драться по-настоящему не умел, они, как выяснилось, тоже. Толкались, махали руками, кто-то упал в лужу. Вова-большой взял одного из них за воротник и просто поднял. Подержал. Поставил обратно. Этого хватило. Они ушли, ругаясь, а мы разгружали цемент до вечера. У меня была разбита губа, и цементная пыль попала в ранку. Щипало. Заплатили нам, как Толик и предсказывал, меньше, чем обещали.

Так мы и жили. Утром — цех, если там было что делать. Если не было — станция. Вечером — считали деньги, которых хватало на хлеб, макароны и «Доширак», который тогда только появился и казался едой будущего. Я варил макароны в той самой эмалированной кастрюле с цветочком — одну всё-таки не продал. Готовил я, кстати, неплохо. Поваром не стал, но макароны у меня не слипались. Ринат говорил, что это единственное, в чём я его обошёл.

На Центральном рынке, в крытом павильоне, где продавали одежду, висела кожаная куртка.

Она висела там месяца два, на плечиках, на самом верху, под потолком, чтобы все видели. Чёрная, турецкая, с широкими плечами, с поясом на заклёпках и с молниями на карманах. Пахла она так, как ничего больше не пахло в моей жизни, — кожей, краской и чем-то дорогим, заграничным.

Кожаная куртка тогда значила, что ты не пропал. Что у тебя всё в порядке. Что ты в теме. В таких куртках ходили люди, у которых были машины и которые не стояли в очередях. В таких куртках ходил старший той бригады, с которой мы дрались, — только поверх «Адидаса». Человеку в такой куртке, я был уверен, не могли выдать зарплату кастрюлями.

Я ходил на рынок смотреть на неё. Не покупать — смотреть. Продавщица, полная женщина в пуховом платке, быстро поняла, что я не покупатель, и перестала со мной здороваться. Однажды она всё-таки сняла куртку с крючка шестом и дала мне примерить. Наверное, из жалости. Или чтобы я уже отстал.

Куртка была тяжёлая. Плечи у неё были шире моих сантиметров на десять, и я в ней стал похож на шкаф, в который положили голову. Но я посмотрел в зеркало, мутное, с отбитым углом, и увидел там человека, у которого всё в порядке.

— Турецкая, — сказала продавщица. — Натуральная. Будешь брать?

Цену она назвала такую, что это были примерно четыре моих зарплаты. Если бы мне их платили.

— Подумаю, — сказал я.

— Думай, — сказала она и повесила куртку обратно, под потолок.

Я думал очень долго. Но это отдельная история.

На кухне у меня сейчас нет кожаной куртки. Есть куртка из «Спортмастера», синтетическая, на молнии, висит в коридоре. Свеча догорела до середины. Я отрезал ножом нагар с фитиля, чтобы не коптила. Этому меня научили в монастыре — нагар надо снимать, иначе пламя растёт, чадит и свеча горит вдвое быстрее. Тогда, в девяностых, я про нагар не знал. Я вообще много чего не знал.

Про «Рояль» — это было в феврале. Год, кажется, девяносто третий. Может, девяносто четвёртый. Эти годы у меня склеились, как карамель от шефов.

Фура пришла ночью. Толик узнал о ней заранее — у него всегда были какие-то знакомые, которые что-то знали. Сказал: будет фура со спиртом, разгрузка на склад за станцией, платят хорошо, но надо быть в одиннадцать вечера и молчать.

Спирт «Рояль» тогда знали все. Литровые бутылки с квадратными плечами, этикетка с короной, девяносто шесть градусов. Говорили, что его делают в Европе, из чистого зерна, и что им можно хоть раны промывать, хоть пить. Им и промывали, и пили. Чаще второе. Разводили водой из-под крана, добавляли порошок «Юпи» для цвета и вкуса. Получался напиток ядовито-оранжевый, похожий на жидкость для мытья окон. Его называли «ликёр».

Было минус двадцать пять. Мы стояли у склада, в темноте, и притопывали. Фура опоздала на час. Когда она подъехала, водитель вылез, посмотрел на нас так, как будто мы уже что-то украли, и открыл двери.

Внутри были коробки. Много коробок. В каждой — двенадцать бутылок, переложенных картоном. Мы разгружали цепочкой: Вова-большой подавал из фуры, я принимал, передавал Ринату, Ринат — Эдику, Эдик — Толику, Толик ставил на поддон на складе. Руки через полчаса перестали чувствовать холод. Через час — вообще перестали чувствовать.

В какой-то момент одна коробка вышла из фуры мокрая. Бутылка внутри треснула. Запахло так, что у всех защипало в носу. Водитель выругался. Экспедитор, который стоял со списком, достал ручку и что-то записал.

— Бой, — сказал он. — Спишем.

И тут у Толика стало такое лицо, какое бывает у человека, который увидел тему.

Как это случилось дальше, я толком не помню. Кажется, Толик тоже сказал «бой» — про ещё одну коробку. Потом про ещё одну. Экспедитор, по-моему, всё понимал, но смотрел в свои накладные. Может, ему было всё равно. Может, он знал, что списанные бутылки потом всё равно кто-нибудь выпьет, так какая разница кто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.